

**Paula A. Michaels.** *Curative Power: Medicine and Empire in Stalin's Central Asia.* Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh Press, 2003. 239 p.

Мне уже приходилось писать рецензию на книгу одной американской исследовательницы, посвященную истории «национального строительства» в СССР в 1920–1930-е гг.<sup>1</sup> И в ней я говорил о том, что в последнее время среди американских историков, специалистов по России и СССР, развернулась дискуссия о том, считать советскую державу империей (неважно, «типичной» или не очень) либо эту страну и эпоху надо оценивать как некую особую политическую формацию, которая скорее представляла собой один из вариантов преодоления имперского наследия и построения современного модернизированного общества. Книга ассистента-профессора истории Университета Айовы Паулы Майклс «Целебная власть: медицина и империя в сталинской Центральной Азии» принадлежит к тому же ряду исследований. Только на этот раз советская

<sup>1</sup> Абашин С.Н. Рец. на: Hirsch F. *Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union.* Ithaca, London: Cornell University Press, 2005. 367 p. // Этнографическое обозрение. 2006. № 2. С. 165–168.

история оценивается «из Казахстана» и на примере политики в области медицины.

История медицины дает богатый материал для теоретических обобщений, показывая разнообразные взаимосвязи власти и знания. И здесь сложились свои линии размежевания, которые важны для понимания книги Майклс. Так, вслед за сделанным философом Мишелем Фуко<sup>1</sup> анализом возникновения современных медицинских практик и современной «биополитики» можно рассматривать новейшую историю медицины как по-своему универсальную историю рационализации знания и формирования новых форм дисциплинарной власти. Либо — применительно к неевропейским странам (которые не входили в анализ Фуко) — историю медицины можно интерпретировать как историю имперского проникновения европейского/западного знания и дисциплинарной власти в остальные части света, т.е. историю подчинения и сопротивления «другого». Эта последняя традиция восходит к постколониальной школе, к которой принадлежит историк колониальной медицины в Британской Индии Давид Арнольд<sup>2</sup>.

Нетрудно заметить, что такого рода дискуссии непосредственным образом связаны с вопросом о том, стоит ли говорить о советском государстве как случае модернизации или как случае имперского господства. Методология Фуко призывает нас скорее обращать внимание на универсальную природу советской власти, которая специфическими способами достигала тех же задач, что и страны Европы/Запада — модернизации, установления контроля над населением, использования научного знания (в том числе медицинского) для господства над человеческими мыслями и поведением, над человеческим телом. Адепты же постколониальной теории подозревают подобные универсалистские объяснения в завуалированной форме господства Европы над другими частями мира, отказываясь говорить о человеке вообще и предпочитая рассматривать/различать разные социальные и культурные контексты, в которых происходит становление современного общества. Модернизационная, технократичная и интернационалистская риторика советской власти с этой точки зрения — всего лишь изощренное прикрытие колониального господства, способ оправдать и легитимировать его ссылками на законы истории и природы.

Из введения (Р. 1–13) и заключения (Р. 177–182) рецензируемой книги следует, что Майклс встала скорее на вторую точ-

<sup>1</sup> Фуко М. Рождение клиники. М., 1998; Фуко М. «Нужно защищать общество»: Курс лекций, прочитанных в Колледж де Франс в 1975–1976 учебном году. СПб., 2005.

<sup>2</sup> Arnold D. Colonizing the Body. State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-Century India. Berkeley; Los Angeles; London, 1993.

ку зрения и пишет свою работу в рамках концепции, согласно которой Советский Союз — это русский вариант европейского империализма, который распространял по своей территории новые типы дискурсов, институтов и практик исключительно с целью подчинения «других» и их эксплуатации. Свой вывод она основывает на анализе биомедицинской политики советской власти в Казахстане. Ее интересуют такие аспекты: усилия власти по созданию системы здравоохранения, язык обоснования этой политики, связь этого языка и этих усилий с доминированием русских и Москвы, сопротивление казахов этому доминированию. В трех частях книги автор скрупулезно рассматривает огромный массив архивных и литературных данных.

В главах «Казахская медицина и российский колониализм, 1861–1928» (Р. 21–45) и «Медицинская пропаганда и культурная революция» (Р. 46–70) (1-я часть «Дискурс») Майклс дает описание традиционных «этномедицинских» практик у казахов, характеризует восприятие (по большей части негативное) казахской медицины русским ориентализмом в XIX и начале XX вв., предлагает краткое описание становления советской биополитики к 1928 г. и затем формирования новой биополитики — методов и риторических приемов медицинской пропаганды, формирование образа «доктора-героя» и т.д. Здесь же она пишет о сложностях и ограничениях, с которыми столкнулась эта политика в Казахстане в 1930-е гг. В частности, Майклс говорит об интересе российско-ориенталистской этнографии, а потом советской медицинской пропаганды к условиям жизни, обычаям и гигиене как главным источникам угрозы здоровью, называя этот интерес дискурсивным средством, с помощью которого власть утверждала представление об «отсталости» и соответственно подчиненности казахской культуры и казахского общества, требующих решительных реформ по русско-европейскому (универсальному?) образцу.

В главах «Медицинское образование и образование новой элиты» (Р. 73–102) и «Построение социализма: медицинские кадры в поле» (Р. 103–126) (2-я часть «Строительство институтов») Майклс подробно останавливается на истории развития биомедицинского образования в Казахстане, используя, в частности, архивы созданного в 1931 г. Казахского медицинского института. Она пишет о формировании в рамках такого образования советских типов лояльности, гордости и патриотизма, об изучении казахами русского языка. Особое внимание автором уделяется тому, как казахи вовлекались в получение образования, как менялась абсолютная и относительная численность казахов среди студентов, какие отношения склады-

вались в институте между разными этническими группами, какие существовали формы недовольства и преследования. Затем Майклс исследует развитие сети медицинских учреждений в сталинском Казахстане и национальную (а также гендерную) кадровую политику власти, упоминая трудности и препятствия, с которыми сталкивались эти процессы: недостаток оборудования, низкая квалификация, отсутствие бытовых условий для медицинских работников и пр. Майклс оценивает итоги биомедицинской политики в сталинское время, отмечая как успехи, так и неудачи.

В главах «Политика попечения за женским здоровьем» (Р. 129–152) и «Медицинская и общественная политика здоровья по отношению к казахам-кочевникам» (Р. 153–175) (3-я часть «Практика») Майклс говорит о восприятии и роли казахской женщины в советской программе преобразований, успехах и трудностях политики «охраны материнства и младенчества». Там же она рассказывает об отношении большевиков к кочевому образу жизни и о политике «красных юрт», с помощью которых медицинская и другие формы власти доходили до казахских номадов, а также о коллективизации и седентаризации кочевников, в которых в качестве государственных работников принимали участие медицинские кадры.

Отдавая дань многочисленным и неоспоримым достоинствам книги (внимательное и тщательное изучение архивов, попытка взглянуть на историю советского общества с точки зрения локального и регионального уровня, стремление опереться на постколониальную теорию и пр.), нельзя не отметить, что автор не на все вопросы в рамках избранных ею же концептуальных рамок дает исчерпывающие ответы. В рамках рецензии трудно вступить в полноценную дискуссию, но на некоторые проблемы я хочу кратко обратить внимание.

Возникает, например, такой вопрос. Почему суждения о советском строе, который существовал с 1917 по 1991 гг., основываются только на изучении сталинского периода 1930–1940-х гг.? Почему важен именно данный период, а не 1920-е гг. и не эпоха Хрущева и Брежнева? В эти годы тоже существовало советское общество, несколько иначе организованное, чем при Сталине. И мы, возможно, увидим, обратив взор к этим временам, что казахи (и вообще все остальные «колонизированные» народы) были активно вовлечены в проект/процесс советской модернизации и реализовывали в нем собственные интересы. Мы увидим у тех же казахов сильную и эффективную советскую идентичность, за которой стояли привычки, практики, габитусы, сформированные в советское время. Но не потому ли Майклс останавливается на 1930–1940-х гг., что

другие периоды не очень удачно вписываются в понятие «империя» и представляют гораздо больше материалов для сомнений в имперской природе СССР?

В общем, и про сталинскую эпоху ничего нельзя утверждать однозначно. Несмотря на жесткое подавление инакомыслия, политику 1930–1940-х гг. мы можем описывать не только в терминах подавления и сопротивления, но еще и в терминах компромисса или соглашения между разными группами элит и населения. Это многостороннее, молчаливое и не всегда равноправное соглашение основывалось на понимании и желании реформ и изменений, а эти желания в свою очередь проистекали из многочисленных траекторий групповых и индивидуальных биографий политиков и населения. Возвращаясь к медицине, мы можем спросить себя и автора: разве в самом казахском обществе не существовало потребности в рационализации медицинских практик и разве не было своих влиятельных энтузиастов такого рода изменений? Даже если современная медицина пришла к казахам из России, какова генеалогия медицинских знаний в самом казахском обществе, были там уже зачатки «современных» представлений, была ли в них потребность изнутри, какие еще влияния испытывали казахи, как современная медицина, доказав свою эффективность, стала частью казахской культуры и инструментом осознания самости? Не ответив на эти вопросы, мы не можем утверждать, что сам по себе факт российского «следа» в процессе становления медицины (и вообще знания в широком смысле слова) в Казахстане был исключительным проявлением имперской сущности России. А таких ответов в книге Майклс нет, несмотря на впечатляющую статистику биополитической экспансии.

О статистике. Майклс часто в доказательство имперской природы медицины использует цифры, согласно которым казахи были на втором месте в числе студентов медицинского института после русских. Однако интерпретация этих данных как отражения дискриминации не убеждает. Кто же пользовался преимуществом по сравнению с казахами? Самая большая группа — русские студенты. Но является ли этот факт результатом специальной политики по продвижению русских или мы имеем дело с тем обстоятельством, что русские абитуриенты в 1930–1940-е гг. были лучше подготовлены и мотивированы для поступления в такого рода вузы? Майклс на этот вопрос не отвечает. Помимо русских среди студентов были большие группы украинцев, евреев и немцев. Многие из них, включая русских, происходили из числа бывших ссыльных, раскулаченных, дворян и интеллигенции, просто скрывающихся от власти людей — всех их тоже можно было бы назвать

в каком-то смысле жертвами сталинской политики. Кто же тогда был той привилегированной группой, от имени которой осуществлялась имперская экспансия и эксплуатация ресурсов колоний? Советская/коммунистическая элита, которая не имела явной этнической прописки и которая к тому также не избежала многочисленных чисток?

Конечно, как справедливо пишет Майклс, «русские обычаи, русский язык и культура должны были быть в сердце развивающейся советской, социалистической идентичности» (Р. 6), а многие ресурсы из окраин направлялись на развитие центральных регионов. Но являются ли любые различия между центром и периферией, а также доминирование какого-то языка в публичном пространстве однозначными указаниями на имперский характер страны? Разве алмаатинский казах с высшим образованием или казахский партийный функционер автоматически становились «колонизированными» только потому, что заявляли о своей казахскости на русском языке?

Для Майклс очень важно расслышать голос колонизируемых — казахов, узнать их мнение о политике советской власти. Однако факты негативных высказываний о советской власти, взятые из сводок спецслужб или партийных отчетов, вовсе не выглядят убедительным доводом в пользу вывода о массовом сопротивлении казахов советской власти. Стоит только выборку таких высказываний произвести не по этническому, а по какому-нибудь другому признаку, и окажется, что в «сопротивлении» могли участвовать все слои общества, а само «сопротивление» было скорее неизбежным спутником модернизационных шоков.

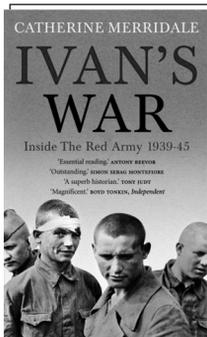
Наконец, следуя канонам постколониальной критики<sup>1</sup>, автор говорит об «этномедицине» как альтернативном европейскому/западному/русскому способе казахов думать о человеке, о причинах болезней и способах их лечения. Наличие такой альтернативы будто бы черта неколонизированной казахской самости и источник различий с европейской/русской универсализирующей моделью. Но была ли казахская «этномедицина» действительно настолько «другой» и разве с ней не происходили изменения в советское время и под влиянием советской медицины? Ответа на этот вопрос нет. Автор специально не анализирует динамику «этномедицины», реконструируя ее скорее как область знаний и практик, сложившуюся и законсервированную в начале XX в.

---

<sup>1</sup> См. например: *Chakrabarty D. Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton and Oxford, 2000.*

Мне представляется, что при всех своих плюсах работа Майкл оставляет многие темы открытыми для интерпретации и заставляет нас — читателей — дальше думать о противоречивости советского времени, советского человека, советской идентичности.

*Сергей Абашин*



**Catherine Merridale.** *Ivan's War. The Red Army 1939–1945.*  
L.: Faber and Faber, 2005 (paperback edition). 396 p.

Взрывая, возмутишь ключи,  
Питайся ими — и молчи.  
*Ф. Тютчев. Silentium*

Потом наступает молчание  
Исподволь, неспроста.  
*О. Бергольц.*  
*(Из рабочих тетрадей)*

Первое чувство: в книге Кэтрин Мерридейл с трудом отыщется нечто, чего бы не знал, о чем бы не догадывался даже человек из того поколения, которое лишь играло в войну, в «русских и немцев». Подспудное знание возникало из уродства инвалидов, домашнего лендлизовского инструмента, газет, в которые были завернуты старые вещи, из отрывочных воспоминаний и многословного нежелания говорить о прошлом. Книжки были лишь псевдонимом невыразимого — гордой и постыдной реальности прошедшей войны. От них ждали объяснения, как следует горевать, помнить и толковать войну, чтобы совместить прошлое с конформным будущим, как наделить войну